

*Памяти самых близких и дорогих мне людей —
отца и мужа посвящаю эту книгу*

От автора

Я прожила с Николаем Ивановичем Бухариным и самые счастливые, и самые драматичные дни нашей жизни. Последние шесть месяцев были настолько тяжки, что каждый прожитый день можно посчитать за столетие. То, что я предлагаю теперь читателю, я писала многие годы, используя любой час, свободный от семейных забот и тревог. Все пережитое никогда не покидало меня ни на день, бередя душу и тревожа ум.

Так уж сложилось, что моя жизнь протекала в среде людей, посвятивших себя целиком, без остатка, делу революции. Судьба большинства тех, кого я знала еще девочкой, оказалась поистине трагичной. Сегодня имена этих «изгнанников» из родословной своего Отечества возвращаются советским людям, нашей истории.

Рассказывая о Николае Ивановиче и тех роковых событиях, которые мне удалось пережить вопреки безжалостным ударам судьбы, я упоминаю Г. Зиновьева, Л. Каменева, Г. Сокольникова, К. Радека, Ю. Пятакова и других видных партийных и государственных деятелей, оклеветавших самих себя и давших по причине, не требующей теперь разъяснения, клеветнические показания против Бухарина. К несчастью, не избежал этой горькой участи и он сам, и А. Рыков, когда, сломленные морально, они оговаривали друг друга на печально знаменитом

судебном процессе по делу так называемого антисоветского «право-троцкистского блока». Таким было это страшное время.

Конечно же, я не могла не вспомнить и своего отца Юрия Ларина (Михаила Александровича Лурье), человека удивительной яркости и поразительного мужества, сыгравшего, вероятно, решающую роль в формировании моих убеждений и моего характера. К тому же он был другом Николая Ивановича, и их дружбе я обязана тем, что с детства знала того, с кем соединила меня потом судьба. Обширное место в моих воспоминаниях занимает командировка Бухарина в Париж весной 1936 года — пролог событий, которые начались тем летом, а завершились судилищем 1938 года.

Мемуары не могут не быть субъективными, но я стремилась быть правдивой и в этом стремлении предельно откровенной. Я уверена, что меня поддержал бы и сам Николай Иванович, в сложном характере которого не было ни малейшей фальши. Я надеюсь поэтому, что каждая деталь, каждая подробность будет небезразлична читателям. И пусть простят они меня и за избыток этих подробностей, и за невольные скачки в моем повествовании, продиктованные импульсивностью памяти. Я не утаила подробностей, которые, быть может, кого-то удивят и обескуражат. Но я вспоминаю чьи-то мудрые слова: «Не ждите от правды больше, чем она есть сама по себе».

Долго и упорно я боролась за реабилитацию Николая Ивановича и счастлива, что в возвращении его имени есть и мой вклад.

Благодарю своих друзей, всех тех, кто в трудные десятилетия оказывал мне моральную поддержку.

*Кто прячет прошлое ревниво,
Тот вряд ли с будущим в ладу...*

А. ТВАРДОВСКИЙ

В декабре 1938 года я возвращалась в Московскую следственную тюрьму после того, как уже в течение полутора лет находилась в ссылке в Астрахани, различных этапных и следственных тюрьмах и, наконец, в лагере для членов семей так называемых врагов народа в городе Томске, где я вторично была арестована и отправлена в тюрьму.

В то время многих жен крупных военных и политических деятелей вновь вызывали из лагерей в Москву — не для того, чтобы облегчить их участь, напротив, с целью ухудшить ее и тем самым уничтожить лишних свидетелей действительно совершаемых преступлений. Примерно одновременно со мной были вызваны в Москву жены Гамарника, Тухачевского, Уборевича, жена второго секретаря Ленинградского обкома партии Чудова, работавшего при Кирове, — Людмила Кузьминична Шапошникова. Все они впоследствии были расстреляны. Томский лагерь был для меня первым. До своего вторичного ареста я пробыла в нем всего лишь несколько месяцев, там мне пришлось пережить «бухаринский процесс» и расстрел Николая Ивановича. Именно там я особенно остро почувствовала трагедию того времени и, несмотря на ужас переживаемого лично, в большей степени стала воспринимать ее

как трагедию Советской страны. Томский лагерь, где содержались около четырех тысяч жен «изменников Родины», был не единственным, а одним из многих такого типа.

Мужскую часть человечества в нем представляли тюремные надзиратели в черных шинелях, пересчитывавшие нас каждое утро, и ассенизатор «дядя Кака», прозванный так двухлетним мальчиком Юрой, заключенным в лагерь вместе с матерью. У всех нас, очень разных — по моральным и интеллектуальным качествам, по прежнему положению своих мужей и их биографиям (были жены старых революционеров — Шляпникова, Бела Куна, жены военных — И. Э. Якира, его младшего брата, тоже расстрелянного, сестры М. Н. Тухачевского, жены руководящих партийных и советских работников союзных республик, председателей колхозов, просто колхозников, председателей сельсоветов, жены сотрудников НКВД, работавших при Ягоде), — был общий эквивалент, определивший путь в этот лагерь: жены «врагов народа», как правило, не знающие исключений, никогда ими не бывшие. Но мы именовались ЧСИРы — члены семьи изменников Родины. Большинство ЧСИРов в представлении лагерного начальства обладали, я бы сказала, абстрактными «вражескими» качествами, так как оно, начальство, само не понимало, что творится в стране. Приходил этап за этапом. Народ становился сам себе врагом.

Но когда лагерные начальники, в большинстве своем серые и малограмотные, сталкивались с женами бывших известных руководителей, то они представлялись им действительно врагами. На всю жизнь врезался в память эпизод, когда на второй день после моего прибытия в лагерь собрали «обыкновенных» ЧСИРов в круг перед бараками, поставили меня и жену Якира в центр круга и начальник, приехавший из ГУЛАГа (Главное управление лагерей), крикнул во весь голос: «Видите этих

женщин, это жены злейших врагов народа; они помогали врагам народа в их предательской деятельности, а здесь, видите ли, они еще фыркают, все им не нравится, все им не так». Да мы и фыркнуть-то не успели, хотя нравиться там никому не могло. Мы были даже относительно довольны, что после долгого мучительного этапа и пересыльных тюрем наконец (как мы думали) добрались до места назначения.

С яростью прокричавший эти страшные слова здоровый, краснощекий, самодовольный начальник направился к воротам Томской тюрьмы. Заключение в ужасе расходились. Были и такие, кто стал нас сторониться, но большинство негодовали. Потрясенные, мы не могли сдвинуться с места — было такое ощущение, будто нас пропустили сквозь строй. Так и стояли в оцепенении на сорокаградусном морозе, пока кто-то не отвел нас в барак, в наш холодный угол у окна, обросшего толстыми махрами снега. Двухэтажные нары были битком набиты женщинами. Ночь — сплошное мучение: мало кому удавалось устроиться свободно, почти все лежали на боку, а когда хотелось переменить положение, надо было будить соседку, чтобы перевернуться одновременно, и начиналась цепная реакция всеобщего пробуждения.

В этот день барак походил на разворошенный улей. Все взволнованно обсуждали случившееся. Иные злобствовались: «Вот, натворили эти бухарины и якиры, а наши мужья и мы из-за них страдаем». Остальные ругали начальника из ГУЛАГа, и многие советовали писать жалобу в Москву, но мы понимали, что это бесполезно. Ночь не спали, сидели на краю нар (места наши «заросли» спящими человеческими телами) — не только спать, даже жить в тот момент не хотелось. Мы тихо разговаривали.

11 июня 1937 года Якир был расстрелян. 20 сентября его жена и четырнадцатилетний сын были арестованы в Астрахани,

где они находились в ссылке. Сарра Лазаревна Якир и без того была еле живая. Я была арестована там же в один день с ними.

Теперь шел декабрь 1937 года — мне еще предстояло пережить расстрел Николая Ивановича, и я в напряжении ждала. Переписка была запрещена. Позже нам разрешили написать одно-единственное письмо с просьбой прислать теплые вещи и сообщением о возможности посылать нам раз в месяц продуктовые посылки; но подтверждать письмом получение посылок запретили.

Уже под утро мы разбудили своих соседей, чтобы те уступили нам места, и только успели задремать, как началась поверка. Мы выстраивались в ряд, и дежурный надзиратель, молодой парень, начинал перекличку:

— Хвамилия, и. о., год рождения, статья, срок... хвамилия, и. о., год рождения, статья, срок...

И женщины покорно отвечали:

— ЧСИР — 8 лет, ЧСИР — 8 лет (изрядка 5).

ЧСИР — звучало менее оскорбительно, чем «член семьи изменника Родины», а для малограмотных — были среди нас и такие — и вовсе ничего не значило. Они с трудом запомнили свое клеймо.

Подойдя ко мне, надзиратель с особым задором выкрикнул:

— А ну-ка, хвамилию?!

— Ларина, — ответила я: так у меня было записано в документах, тогда я еще не знала, что по делу проходила под двумя фамилиями. В этапе почему-то мою фамилию не спрашивали, ее, по-видимому, вписали уже в лагере.

— Ларина?! — закричал надзиратель. — А шпиёнскую молчишь?!

Нетрудно было догадаться, что означает «шпиёнская», и я ответила:

— Бухарина. Но она такая же шпиёнская, как твоя китайская.

Все испуганно замерли. Стоящая рядом Сарра Лазаревна Якир толкнула меня в бок.

— В карцер, что ль, захотела, в карцер? Не побывала еще — побудешь.

Так прошли первые дни в Томском лагере. В карцер, однако, меня не посадили.

Утром мы с Саррой Лазаревной вышли из затхлого барака в зону, чтобы отвлечься от своих мыслей, подышать воздухом. В морозной дымке светило малиново-красное сибирское солнце (к войне такое солнце, — говорили женщины) и чуть румянило снег, который у самого забора, куда не ступала нога человека (ходить туда было запрещено), сохранял свою девственную чистоту. По углам забора, наскоро сколоченного из горбыля, стояли вышки, откуда следили за нами дежурные конвоиры (их называли еще стрелками), и если чуть ближе подойти к забору, тотчас раздавался крик: «Стой! Кто идет?» Дорога, ведущая от убогих бараков к кухне, стала единственным маршрутом и всегда была полна женщин. На лицах многих лежала печать недоумения, испуга и страдания. В шутку мы называли эту дорогу «Невским проспектом» (среди нас было много ленинградцев) или «главная улица в панике бешеной». Чтобы не замерзнуть, бегали по ней толпы несчастных. Большинство — в рваных телогрейках, холодных бусах. Те, кто был арестован летом, прикрывались лагерными суконными одеялами, заменявшими юбки или платки. Завидев издали, меня подозвала Людмила Кузьминична Шапошникова. Она знала моих родителей и помнила меня еще девочкой. Блондинка с зеленоватыми глазами и приятной добродушной улыбкой, Людмила Кузьминична и в лагере сохранила свое прежнее обаяние. Вопреки изнеженной внешности, скрывающей уже немолодой возраст, она была человеком волевым и мужественно ожидала надвигавшиеся новые беды. Старый член партии, как в те годы

говорили, «выдвиженка из работниц», когда-то она ведала в Ленинграде парфюмерной промышленностью и вместе с женой Молотова П. С. Жемчужиной побывала в Америке, где они были приняты Рузвельтом. В те годы за границу ездили редко, так что это событие осело в памяти. В лагере Людмилу Кузьминичну любили, она пользовалась авторитетом у ЧСИРов, ее избрали на самый ответственный пост — заведовать кухней (никакого производства в Томском лагере не было).

Людмила Кузьминична предупредила меня:

— Будь очень осторожна, ничего не говори о том, что творится в стране, молчи о Николае Ивановиче. Обстановка тут мерзкая, вчера ты сама могла в этом убедиться. Развито доноительство. Таскают на допросы в 3-ю (следственную) часть. Многие гнусные бабы вызывают на провокационные разговоры, пытаются заработать обещанную свободу. Время очень тяжелое, а тебе надо быть особенно осторожной. Тебе надо жить! А вот о себе я могу сказать — думаю, что мои дни сочтены*. Меня в живых не оставят.

— То есть как — сочтены? Вы же свои восемь лет получили, — наивно возразила я.

— Это еще не все, будет продолжение.

Шапошникова рассказала, что ее уже вызывали на допросы в лагере и, наверно, отправят снова в Москву. Я ничего не могла понять.

— Почему? — спрашивала я. — Почему?

— Знаю много, вот почему, — ответила Людмила Кузьминична, оглядываясь по сторонам, нет ли кого-нибудь рядом, но кругом никого не было, никого. «Ленинградка, — подумала

* После своего освобождения я узнала, что Л. К. Шапошникова была вторично судима и расстреляна. Ее муж Михаил Семенович Чудов расстрелян в 1937 г.

я, — близко стоявшая к тем, кто работал с Кировым. Сама говорит — знает много. Ближайшие товарищи Кирова, как они объясняли случившееся, что они думали?» Разве можно было упустить такой случай, разве можно было удержаться и не спросить, и я решилась.

— Людмила Кузьминична! Как все случилось с Сергеем Мироновичем, что вы об этом знаете? Там у вас в Ленинграде говорили же, наверно, знали больше?

— Ах, вот что ты захотела знать!

Покраснев, взволнованная и растерянная, она долго смотрела на меня.

— Что за вопросы ты задаешь, разве можно об этом говорить, — наконец произнесла она.

— Я думаю, нам можно, Людмила Кузьминична, нам можно!

— Да мне-то все равно умирать, а тебе ведь жить надо. Я не за себя боюсь, за тебя. Хотя... молчать ты умеешь, молчать как могила?

Как же было не обещать молчать, и она поверила.

— Зиновьеву Киров был не нужен. С самого верха это идет, по указанию Хозяина. — Именно так она выразилась. — Это поняли многие ленинградские товарищи после выстрела, понимал и Чудов.

Хотя к этому времени я тоже понимала, что не Зиновьеву гибель Кирова была нужна, у меня в голове бродило несколько возможных версий. Когда я уже была арестована, в Астраханской тюрьме (ни в коем случае не в момент убийства) я додумывалась и до самого страшного. Но когда эти мысли, даже еще лишь предположения, начинавшие созреть, подтвердились, я только и смогла произнести:

— Страшно!

— Страшно? — повторила Людмила Кузьминична. — А почему убийство Сергея Мироновича страшнее всех

остальных убийств? Это еще легкая смерть — убийство из-за угла, Киров погиб не как враг народа, не как шпион и мучений не испытал. А убийство Бухарина разве будет менее страшным? Не думай об этом, тебе еще много страшного придется пережить.

— Но через кого он действовал? — спросила я.

— Этого я тебе не скажу, это покажет время, — и Людмила Кузьминична, переменив тему разговора, стала вспоминать то лето, когда мы вместе отдыхали в Крыму, в Мухалатке, я с отцом, она с Чудовым. Людмила Кузьминична вспомнила, к моему удивлению, и несколько моих стихотворных строчек того лета, посвященных Чудову:

Что за чудо, что за чудо,
К нам приехал дядя Чудов.
Дядя — Чудов монастырь,
Ленинградский богатырь.

Мне тогда было пятнадцать лет. Чудов был высокий, широкоплечий, могучий человек. «Илья Муромец» — звала я его шутя.

— Вот богатырь, богатырь, а сдули, как соломинку.

Людмила Кузьминична смахнула слезу. И мы расстались, чтобы не привлекать внимания окружающих.

В лагере женщины изнывали и от ужасающих условий, и от безделья. Работы не было. Книг и газет не давали. Позже многим прислали в посылках нитки для вязания и вышивания. Особенно отличались украинки, их рукоделие было достойно художественных выставок.

Наиболее оживленным местом стала площадка возле кухни. Там кипела работа: выносили бочки с баландой и кашей, пилили и кололи дрова, жужжала пила и стучал топор. Особенной ловкостью отличалась живая, остроглазая Таня

Извекова, бывшая жена Лазаря Шацкого, организатора комсомола, любимого, авторитетного, интеллектуального вождя комсомолки первых лет Революции. На морозе со звоном падали из-под топора поленья. Вокруг работающих всегда собирался народ на подмогу. Оптимисты приносили радостные «параша» (слухи — на лагерном жаргоне): к Новому году будет амнистия, к 1 Мая — амнистия, а уж ко дню рождения Сталина — обязательно.

Навсегда осталась в памяти рабочая кухни Дина. Она была среди нас исключением. По отношению к ней была совершена двойная несправедливость. Дина не только не была женой «изменника Родины», но к моменту ареста вообще не была замужем. Женщина крепкого телосложения, бывшая одесская грузчица, Дина рассталась со своим мужем за много лет до ареста. Он тогда тоже был рабочим в порту. Только на следствии узнала Дина, что ее бывший муж занимал потом высокий пост в каком-то городе. Он никогда не сообщал ей о себе. Дина была гордая женщина, она не разыскивала своего супруга и растила детей, не получая от отца ни гроша. Не хлопотала она и о расторжении брака. Это обстоятельство и загнало Дину в капкан. Никакие объяснения на следствии не помогли.

В Томске Дина была использована как тягловая сила — она заменяла лошадь. Мы получали продукты из Томской тюрьмы. В обязанности Дины входило грузить продукты на телегу и доставлять их к кухне. Она подвозила картошку, капусту, крупу и мясные туши — такие тощие, будто эту несчастную скотину специально для нас и растили.

Нашу завкухней Л. К. Шапошникову бросало то в жар, то в холод: она не знала, как накормить всех нас такими продуктами — капуста и картошка были мороженые. Но ее организаторские способности проявились и здесь. Однажды она пришла к нам в барак и сказала:

— Девчата! — так она называла всех женщин независимо от возраста. — Я придумала вот что: из этого мяса все равно ничего хорошего не выйдет, будет баланда с мороженой картошкой без всякого навару. Давайте, пока морозы, соберем эти туши за неделю и к воскресенью сготовим настоящий мясной суп, и даже по котлете, может быть, выйдет. Согласны?

— Согласны, согласны! — закричали все хором. Так поступили и в других бараках, их было, кажется, восемь. В воскресенье мы действительно получили хороший суп и по маленькой котлете. Но приготовить такой обед, как выяснилось, было очень сложно, и, несмотря на огромное количество свободных рук, работа оказалась трудновыполнимой: кухня не смогла вместить такого количества «поварих». И эксперимент больше не повторялся, по крайней мере при мне.

Заметив еще издали Дину, которая за оглобли тянула нагруженную телегу, мы всегда кричали: «Дина едет! Дина едет!» и бежали к воротам, чтобы помочь ей, подталкивая телегу сзади. Для того чтобы компенсировать затрачиваемую Диной энергию, исчислявшуюся в лошадиных силах, лагерное начальство распорядилось давать нашей «лошади» двойной паек. К сожалению, паек был такой калорийности (а овес Дина, естественно, не употребляла), что и тройной бы не помог, если бы Людмила Кузьминична не подкармливала ее на кухне.

Но однажды в Дининой жизни случилась беда. В Томский лагерь была заключена молодая женщина — Жилина, по прозвищу Кармен, потому что пела она хотя и неважно, но людям, лишенным всяких положительных эмоций при избытке отрицательных, доставляла радость. Прошли слухи — а слухи в лагере очень любили, — что Кармен была лысая и носила парик. Не скажу, чтобы этот вопрос интересовал большинство из нас, но Дину он заинтересовал. Она, конечно, не могла заподозрить, что у Кармен была лысая голова, как у градоначальника

Плюща из «Истории одного города». Наша Дина была очень любопытна. А любопытство от безделья усугубляется, и, когда Кармен шла в своем лагерном одеянии — бутсах и залатанном бушлате — по «Невскому», неожиданно налетела Дина и сорвала парик с ее головы. Легким движением, одной рукой водрузив плачущую, с лысой, как колено, головой, Кармен на свою спину, а другой размахивая париком, словно знаменем, Дина со звонким хохотом помчалась по дороге. Сейчас же подбежал надзиратель и заставил освободить Кармен. За озорство Дина была наказана пятью сутками карцера (холодное помещение, хлеб и вода). Когда надзиратель хотел повести ее в карцер, Дина решила воспользоваться своим единственным преимуществом — силой, стала сопротивляться, и маленький, щупленький надзиратель, вывернувший Дине руку назад, мгновенно оказался на Дининой спине. Так Дина под общий смех женщин донесла дежурного до карцера. Но отсутствие другой тягловой силы спасло ее, и на следующий день она вновь впряглась в свою телегу.

Кроме того, что Дина не была ничьей женой — ни «врага народа», ни его друга, — она отличалась от нас и тем, что была единственной, кому нравилось в лагере, и этим вызывала жалость. Так убого было ее существование на воле, так полно оно было заботами о детях, о хлебе насущном, так тяжка была для нее работа в порту, так безрадостна вся жизнь, что в лагере Дина почувствовала не неволю, а освобождение от житейских тягот и радость беззаботных дней. Весна в тот год выдалась на редкость ранняя, за все двадцать лет моего пребывания в Сибири больше такой не было. Дина ставила свою телегу с упавшими на землю оглоблями под единственные три березы, которые росли в зоне возле кухни (впоследствии и их срубили). Их ветки уже не только набирали почки, но кое-где разбросали нежное кружево чуть распустившихся бледно-зеленых

молодых листочков. Как хороши были эти березки, возле которых толпились исстрадавшиеся, мрачные, обносившиеся, еще не все скинувшие свои грязные, серые телогрейки женщины, как они были хороши — на фоне обшарпанных низеньких бараков, затоптанной зоны, из которой, казалось, никогда не выберешься. Дина, закончив непродолжительную работу, ежедневно ложилась в своем лагерном одеянии на телегу под березой: в ботинках из свиной кожи на босу ногу, черной ситцевой юбке, замусоленной, непонятного цвета кофте (новую, доставшуюся ей, одной из немногих, телогрейку складывала вдвое, а то и вчетверо, и подкладывала под голову). Рядом всегда лежала темная матерчатая ушанка. Солнце уже припекало основательно, и на голове ушанка была не нужна. Но Дина заглядывала в будущее: зима впереди, да не одна, а целых восемь («Кто их знает, этих интеллигентов и неинтеллигентов, — пайку-то хлеба сперли», — рассказывала с возмущением Дина). Дине на кухне другую дадут, видимо, думала та, которая украла пайку, Дина голодная не останется. А вот шапку на кухне не дадут, и Дина предусмотрительно ее с собой таскала. Так все ее имущество с ней вместе на телеге лежало. В лагере вещи только обременяют: как этап — тащи их на себе. Но и без них несладко.

Я иногда присаживалась к Дине на телегу. Влекло меня к березкам, да и хорошо, что Дина была молчалива, никогда не спрашивала, как я отношусь к прошедшему в марте процессу, и мне не приходилось ломать голову, не провокационный ли ведется разговор. Ловушки после процесса были расставлены повсюду, да и где мне разобраться, кто какой человек! Уберечься невозможно. А с Диной было легко.

Но вот однажды и Дина разговорилась:

— Что ходишь сюда, скажи, жалеешь меня, что ль? Не жалеи, не надо. Ты свою жизнь жалеи, а мне тут неплохо. Дети в детском доме, во-первых, сыты, — и она правой рукой загнула палец

на левой, — во-вторых, одеты, — загнула второй, — в-третьих, обуты, — загнула третий палец.

— Ты даже по детям не скучаешь, Дина, и свободы тебе не жаль?

— А какая там свобода! С утра до ночи в порту. Да я и детей почти не видела.

— А почему ты не училась, Дина?

— Почему не училась?.. Советская власть головы не дала, — рассмеявшись, ответила Дина. — Пробовала даже, не получилось. Я тебе еще раз скажу, не более за чужую свободу, более за свою. Не более за чужих детей. Если у тебя есть свои, более за них. А вот зачем ты себе мужа врага выбрала, такая дивчина? Он-то, говорят, настоящий враг. У-у-у — лютый враг!

А я-то думала, она не знает, кто я. Меня словно кипятком ошпарило. Я спрыгнула с телеги и хотела бежать. Я ничего не могла ей ответить!.. Но Дина задержала меня своей большой сильной рукой и сразу изменила тон разговора.

— Знаешь, разное о нем балакают: и что он шибко умный был, а это смерть — шибко умному быть; чуть больше моего надо — и хватило бы. Ну даже что с самим Лениным работал, слыхала. Ну, может быть, это бабья брехня, но видать-то, наверно, видал его. Хоть разок видал, а? — спросила Дина с любопытством. И я за долгое время впервые улыбнулась.

— Не рассказывал он мне об этом, может, и видал разок, но кто с тобой балакает, Дина? Набалакаешься и в беду попадешь!

— Со мной-то кто? Да кто со мной говорить будет. Лежу здесь да слышу всякую болтовню: про то, про се...

Это был мой последний разговор с Диной, но до сих пор я ее вспоминаю.

Об этом разговоре я тогда решила рассказать своей любимице — Виктории Александровне Рудиной. Сарра Лазаревна

Якир и я познакомились с ней в Свердловской пересылке, куда мы прибыли этапом из Астраханской тюрьмы через Саратовскую пересыльную, она же — из московской Бутырской.

Саратовский каземат показался мне пострашнее Петропавловской крепости, наверное, потому, что в Петропавловской я была с отцом в качестве посетителя музея, хотя, может быть, в двадцатые годы музей еще и не был открыт, а Ларину было разрешено туда пройти как бывшему узнику. Привел он меня в ту самую камеру, где сидел до революции 1905 года. Длинный коридор Саратовской тюрьмы с затхлым, потерявшим прозрачность дымным воздухом казался адом. Шум из камер еле-еле проникал сквозь толстые двери. Слышался только звон ключей, висевших на поясах у надзирателей, да грохот открываемых засовов. И надзиратели были там почему-то особенно злые. Но, как ни тесно было в Саратовской пересылке, в камеру нас все-таки втолкнули. В одном лишь отношении было легче в пересыльных тюрьмах, чем в следственных, — мы ошибочно полагали, что судьба наша решена окончательно, и напряженность ожидания исчезала.

Свердловская же пересылка отличалась от других тем, что заключенные уже в камерах не помещались ни на нарах, ни под нарами, ни между нарами — поэтому нас поселили в коридоре. Коридор неширокий, светлый, так как «намордников» на окнах не было, и очень холодный. Расположились мы с Саррой Лазаревной Якир на полу, постелив байковое одеяло Николая Ивановича, а более теплым, шерстяным, якировским, — накрылись.

Рядом со мной лежала сумасшедшая ленинградка. Она то садилась и молча рвала свое черное зимнее пальто, раздирая его на мелкие ленточки, выщипывала ватин, то вдруг неожиданно поднимала крик на весь коридор: «Убили Сергея Мироновича, убили, все убили, все и сидим!», то порывисто вскакивала

и, подбегая к замерзшему, покрытому инеем окну, как пушкинская Татьяна, хоть и не прелестным, а толстым, опухшим от холода и грязным пальцем царапала свой «заветный вензель» — «С. М. К.», Сергей Миронович Киров. После нескольких минут спокойствия, за которые она успевала исчеркать все окна, она начинала истерически кричать:

— Изверги, изверги, изверги, ведь это мы все убили товарища Кирова, нашего Мироныча. Все на одного! Спасайте, спасайте его!

К ночи она успокаивалась, ночью у нее было другое занятие: она вытаскивала из головы вшей, что не составляло для нее никакого труда — в таком огромном количестве они у нее водились. Запустит руку в голову — и улов обеспечен. Вшами она посыпала мою голову, приговаривая: «Всем поровну, всем поровну, к коммунизму идем».

В коридоре Свердловской пересылки привлекла мое внимание древняя старушка. Она сидела спокойно, разглядывая всех внимательно с высоты своей старческой мудрости. Испещренная морщинами, как печеное яблоко, крохотная, высохшая, непонятно чистая для тюремных условий, в белоснежном кружевном чепчике, аккуратно сидевшем на ее голове, она и места-то занимала меньше всех. Я услышала ее голос впервые, когда она обратилась к легкому (медбрат — обычно из бытовиков, устроившихся на «теплое» местечко, ничего в медицине не смысливший, но оказывавший легкую медицинскую помощь; уголовники чаще называли его «лепком» для простоты произношения, не понимая значения слова).

— Сынок, ты бы мне что-нибудь от поясницы дал, — попросила старушка.

— А чего я тебе дам, когда тебе сто десять лет, что тебе поможет!

Все ахнули: неужто сто десять?

— Мне помогает, помогает, таблеточку дай, — попросила старуха.

— На тебе аспирин, глотай, много он тебе поможет. Таблеточку ей дай!

— Правда, бабуля, тебе сто десять лет? — спросила я.

— Точно, точно, — сказал «лепком», — я ее формуляр видел, она 1827 года рождения.

— Чего ж неправда, когда правда это, — подтвердила бабушка.

— Так ты при Пушкине жила?

— Это при том, что стихи писал? Сказывают, жила.

— Так за что тебя, бабуля, посадили?

— За что — не знаю. Следователь сказал, что я Евангелие читала, а там про Ленина плохо написано.

— Ну это ты что-то спутала, бабуля, не может быть.

— Это не я спутала, это он перепутал.

Бабушка за Ленина в Евангелии получила пять лет лагерей.

Свердловская пересылка запомнилась и тем, что баланда там была всегда с тараканами. Уж парочка обязательно попадалась в миске. Вот эти два обстоятельства — тараканья баланда и сумасшедшая ленинградка — положили начало моему знакомству и дружбе с Викторией Рудиной. Жена военного, она до ареста преподавала в школе русский язык и литературу. Я увидела ее впервые, когда она, пробираясь через тесно лежащие в коридоре тела, подошла к запертой двери и энергично стала стучать в нее, требуя, чтобы пришел начальник тюрьмы. Наконец он явился. Она посмотрела на него свысока и, как мне показалось, брезгливо оглядев его с ног до головы, сказала таким тоном, будто он был у нее в подчинении:

— Во-первых, уберите сумасшедшую, ее нужно лечить, а здесь она не дает спать и заражает вшами. Во-вторых, прекратите варить баланду с тараканами, так как полезность сих насекомых для человеческого организма еще не доказана. Поняли?

Начальник тюрьмы выслушал молча и ушел. К вечеру сумасшедшую увели. В обед тараканов стало меньше, они плавали в мисках далеко не у всех — наверно, их вылавливали в котле.

На следующий день меня, Якир и Викторию взяли на этап и отправили в Томский лагерь. В Томске Виктория сапожничала, выпросив у начальства для этого необходимый инструмент. Барак, где она жила, находился напротив кухни, в самом людном месте. Когда потеплело, Виктория выбралась на воздух, устроившись у стенки, против березок, чинить обувь. Высокая, худая и бледная, с воспаленными от недоедания и напряженной работы глазами, она сидела, ссутулившись, в своем старом, когда-то вишневого цвета пальто. Теперь оно выцвело и потерлось на тюремных нарах, это демисезонное пальто, в котором Виктория мерзла всю сибирскую зиму. Положив тряпку на колени, она ловко орудовала шилом и дратвой. К этому времени Виктория уже не справлялась одна и организовала школу сапожников. Все сошло благополучно. Ее школа не была превращена в «школку» и не была разгромлена как контрреволюционная организация. Но мастерство главного сапожника было непревзойденно. Все стремились отдать в починку обувь именно Виктории. Может быть, ее педагогический талант и помог быстро выучить несколько человек сапожничать, но, конечно же, не прекрасное знание литературы помогло ей самой овладеть этим ремеслом. Просто она умела отдавать себя людям. А в условиях, в которых мы жили, работа ее была нужна товарищам по несчастью.

Когда впоследствии Виктория находилась в ссылке в Татарской АССР, где преподавала русский язык и литературу, один из ее очень способных учеников, отлично окончивший школу, сдавал экзамены в Казанский университет и, не добрав

одного балла, не поступил. Виктория объяснила это несправедливой случайностью. С риском для себя (ее могли подвергнуть вторичному аресту) она поехала в Казань к ректору университета. «Как вы нам надоели, мамаша!» — такими словами встретил ее ректор. «Я вам не мамаша, я его учительница, это мой блестящий ученик, но если я вам очень надоела, подымите трубку, позвоните в известные органы — я ссыльная, — сообщите, что я в Казани, и меня вновь арестуют». Ректор встал, пожал ей руку и сказал: «Не волнуйтесь, ваш ученик будет принят». Обещание свое он выполнил.

Когда я подошла к Виктории, взволнованная разговором с Диной, ее окружали женщины.

— Виктория, милочка, подшей сапоги, — просила жена колхозника и сама бывшая колхозница из Рязанской области. — Сапоги отцовские. Сказал, пригодятся, мол, там, и вот как пригодились, пропала бы без них. Ох, тяжело, — вздохнула она. — Сначала мужа арестовали; ночью и за мной приехали и отвезли в Рязанскую тюрьму. Открыли замок, завели в камеру, тут-то я и поняла — нет его, бога-то!

В Томском лагере было шестьдесят женщин, арестованных с новорожденными детьми. Только один Юра был двухлетний.

Я часто приходила к нему. Он жил вместе с матерью в «мачочном» бараке и напоминал мне моего Юру — был к тому времени, к весне 1938 года, такого же возраста и даже внешне чем-то на него походил.

Дети подрастали, и надо было их одеть. Людмила Кузьминична добилась, чтобы нам дали байки, и мы шили для детей одежду. Матерей мы звали по имени детей: Любочкина мама, Васькина мама, Ванькина мама. Ванькина тоже подошла к Виктории, чтобы отвести душу.

— Виктория, подумай, — рассказывает она, — подходит ко мне Тельманша (старшая надзирательница Тельман)

и говорит: «Видишь, как советская власть о детях заботится. Ты в тюрьме сидишь, а твоему Ваньке вон какой костюмчик сшили». И что, думаешь, я ей ответила? «А по мне, дали бы мне рогожу, завернула бы я своего Ваньку и пошла бы я домой, и не надо мне никакого вашего костюмчика». Семья-то была у нас одиннадцать человек: восемь детей, я с мужем, и маменька с нами жила, я только Ваньку с собой взяла, остальные со старухой и Дунькой остались — ей шестнадцать, она старшая. Тельманша думает, мы хорошей жизни не видели. Сам-от, бывало, поедет в город, купит кило сахара на неделю, и ешь сколь хошь...

Виктория, взволнованная этим рассказом, ответила ей стихами:

Горя-то, горя-то сколько кругом,
Так что о собственном горе своем
Думать становится стыдно.

Но стыдно ли? Не те времена! Мне не было стыдно думать и о своем. И хоть гонишь от себя это «собственное», все равно мысли никак не дают покоя — терзают.

Некрасов писал о жестоких нравах крепостной России: «А по бокам-то все косточки русские... сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?» Но сколько тех косточек по сравнению с нашими. В бесчисленные пирамиды павших от расстрелов, голода и холода можно было бы их сложить. Что те слезы в сравнении со слезами наших женщин в лагере, оторванных от детей и мужей — униженных и безвинно уничтоженных. «Русские женщины»? Княгини Трубецкая, Волконская, покинувшие роскошную петербургскую жизнь и поехавшие на перекладных к своим мужьям-декабристам в Сибирь? Слов нет — подвиг! Тема для поэта! Но как они

ехали? На шестерке лошадей, в шубах, в на диво слаженном возке, «сам граф подушки поправлял, медвежью полость в ноги стлал». Да и к мужьям же ехали! Наши женщины — русские и нерусские — украинские, белорусские, грузинские*, еврейские, польские, немецкие из Поволжья и бежавшие из фашистской Германии коммунистки — сотрудницы Коминтерна и другие (Сталин же — «интернационалист»!) — доставлялись этапом, в теплушках или «столыпинском», ну а потом от станции до лагеря километры пешком, под конвоем с собаками овчарками, обессиленные, еле тащившие свои жалкие пожитки — чемоданы или узлы — под окрики конвоя: «Шаг в сторону — стреляю без предупреждения!» или «Садись!» — хоть в снег, хоть в грязь, все равно садись! Да и не к мужьям же ехали! Хотя были среди нас такие мечтательницы, которые наивно надеялись, что в том лагерном потустороннем мире их соединят с мужьями — теми, кто имел десять лет без права переписки, а значит — был расстрелян. Да и мне, если бы к Николаю Ивановичу, тогда что мне та дорога!

Но я и надеяться не могла.

Некрасов писал про «Орину — мать солдатскую». Сын ее в долгой и тяжелой солдатчине умер от чахотки. И впрямь: «Мало слов, а горя реченька!» В суровые годы войны на фронте тоже погибали наши сыновья и безмерно было горе матерей.

* Сталин не щадил и грузин, уж в национализме и семейственности его никак не упрекнешь. Вот тут-то он чист перед историей. Родственников своих, Сванидзе и Аллилуевых, обрек он на самоубийства, казни и лагеря. Привыкшие к мягкому, теплему климату, грузины первыми гибли на Севере. Расстреливали их в огромном количестве. В процентном отношении репрессированных к остальному населению едва ли не первое место им-то принадлежит. Да и по проклятьям, которые слали они вождю и даже матери его, подарившей грузинскому народу такого сына, тоже брали они в лагерях первенство. С грузинским темпераментом проклинали.

Но сын-то погибал как герой, защищая Родину, а не безвинно проклят, Родина, тобой! Что же сказать о той, у кого сына увезли ночью в «черном вороне»?! Но даже этой страдальце могла бы позавидовать та мать, чей сын был известен не только знакомым, сослуживцам и соседям, а еще вчера был гордостью всего народа, а ныне выставлен на всеобщий позор. И не прочли мы еще поэмы об этой вечной душевной муке, безмерной подавленности и вечном вопросе в глазах: «А правда ли и как это могло случиться?» И досталось многим, хоть ненадолго — не пережили, нести на себе этот тяжкий крест за опозоренного и уничтоженного сына.

Судьба свела меня с матерью, сыном которой гордилась вся страна. Зато и проклинала страна его дружно. Я знала, что это такое, хотя была не матерью такого сына, а женой всенародно проклятого мужа. Всенародное проклятие, всенародное глумление — что может быть страшнее этого? Только смерть — спасение от такой муки!

Та, которую я встретила, была не «Орина — мать солдатская», а Мавра — мать маршальская, тоже простая крестьянская женщина. Я встретилась с семьей Тухачевского в самые трагические для нее дни, в поезде Москва — Астрахань, 11 июня 1937 года по пути в ссылку. Меня довез на машине до вокзала и посадил в вагон (бесплацкартный, зато бесплатный) сотрудник НКВД, нарочито вежливо распроващавшийся со мной и как будто в насмешку пожелавший всего хорошего. По дороге на станциях выходили из вагонов пассажиры и хватали газеты с сенсационными известиями. В них сообщалось, что «Военная Коллегия Верховного Суда СССР на закрытом судебном заседании рассмотрела...», что «все обвиняемые признали себя виновными» и «приговор приведен в исполнение». В тот день погибли крупнейшие военачальники — Тухачевский, Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, Фельдман, Путна, Примаков. Начальник

Политуправления Красной Армии Я. Б. Гамарник 31 мая 1937 года покончил жизнь самоубийством*.

Казалось, можно было уже перестать удивляться и все воспринимать как какой-то необъяснимый, роковой круговорот. Уже прошло два большевистских процесса: Зиновьева–Каменева, Радека–Пятакова. Уже покончил жизнь самоубийством М. П. Томский, арестованы А. И. Рыков и Н. И. Бухарин. Я уж не говорю о более ранних процессах, хотя тогда они не вызывали у меня никаких сомнений. Лишь осуждение Н. Н. Суханова на процессе меньшевиков в марте 1931 года заставило задуматься. Николай Николаевич Суханов — известный литератор, революционер, публицист, экономист, в прошлом меньшевик. Суханов довольно часто бывал на квартире моего отца, его беседы с Ю. Лариным нередко длились часами — и я думаю, еще и потому, что он был увлечен моей матерью. Это вызывало во мне неприязнь к нему. Я ревностно оберегала интересы своего больного отца. И хотя к Суханову у меня было очень двойственное чувство, так как человек он был чрезвычайно интересный, побеждала во мне нелюбовь. Поэтому меня раздражали изысканные манеры Суханова, его европейский вид, габардиновое пальто, серая фетровая шляпа, пенсне. Уже в то время я любила, когда по квартире бегал жизнерадостный

* Об обстоятельствах самоубийства Я. Б. Гамарника мне рассказала его жена, с которой я была одновременно в астраханской ссылке, а затем в одной камере Астраханской тюрьмы.

К заболевшему Я. Б. Гамарнику 31 мая 1937 г. пришел взволнованный В. К. Блюхер и посвятил его в имеющиеся против него, очевидно и против остальных военачальников, расстрелянных 11 июня 1937 г., клеветнические материалы. Сразу же после ухода Блюхера явились двое: управляющий делами Наркомата обороны Смородинов и один из заместителей Я. Б. Гамарника — Булин, опечатали сейф. Не успели они уйти, как раздался выстрел.

Бухарин и его кожаная куртка часто валялась, небрежно брошенная, в кабинете отца.

В те годы меня больше всего привлекал рассказ Суханова о том, что шумный бракоразводный процесс его матери, приговоренной судом к тюремному заключению, послужил темой для драмы Л. Н. Толстого «Живой труп». Николай Николаевич рассказывал это со всеми подробностями, которых я, увы, не помню.

Его многотомные «Записки о революции» вызвали много споров, читались большевистской верхушкой взахлеб, и, несмотря на взгляды, с точки зрения большевизма неверные, признавалась их некоторая историческая ценность.

Все по тем же личным мотивам мне каждый раз хотелось чем-нибудь задеть Суханова, уязвить его. Однажды, заметив, что Суханов меньше слушает отца, увлеченно рассказывающего о новой архитектуре, о городах будущего, а больше смотрит на мать, я, чтобы отвлечь его взгляд от матери, во весь голос запела очень популярный в то время марш: «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц...» Этим я только рассмешила все понявшего Суханова, который потом всегда свой приход начинал с этого марша, и рассердила ничего не понявшего отца. «Ты бестактна, — сказал он мне, — выйди из кабинета!»

Но однажды я больно задела Суханова, сыграв на известном историческом факте. В целях конспирации на квартире Суханова, в то время видного меньшевика, и его жены большевички Галины Константиновны Флаксерман решался вопрос о вооруженном восстании 1917 года.

Как-то я сказала Суханову:

— А все-таки, Николай Николаевич, вас здорово надули большевики в октябре 1917 года, решив в вашей квартире в ваше отсутствие вопрос о восстании.

Возмущенный Суханов ответил:

— Надуть меня было абсолютно невозможно, да будет известно тебе и твоим родителям! Я нарочно ушел, чтобы дать возможность решить этот вопрос.

Я слышала высказывание Суханова незадолго до его ареста, что в последнее время он разделяет политику ВКП(б) и намеревается вступить в партию.

Николай Николаевич всегда открыто высказывал свои взгляды и тогда, когда не разделял большевистскую политику. Именно Суханов посеял во мне зерно сомнения в отношении процесса Союзного Бюро меньшевиков, и это сомнение после большевистских процессов превратилось в полную уверенность, что и предыдущие процессы — фальсификация.

Но, по-видимому, человеку от природы свойственно не переставать удивляться. Я мало сказать удивилась, я была потрясена новым судом и стала искать хоть какие-то объяснения.

В заговор против Советского государства, в связь с Гитлером поверить я никак не могла. Но так как репрессии достигли таких масштабов, что превращались уже во всенародное бедствие, я приписала расстрелянным военным благородную миссию: они, подумала я, решили убрать Сталина, чтобы прекратить репрессии, и провалились. И позже, в сентябре 1939 года, во внутренней тюрьме на Лубянке, один из следственных работников Матусов сказал мне:

— Вы же думали, что Якир и Тухачевский спасли бы вашего Бухарина. А мы работаем хорошо. Поэтому это не удалось!

И хотя такого заговора, то есть против Сталина, по-видимому, не было, Сталин его боялся, в этом и есть, с моей точки зрения, причина гибели наших военных руководителей.

Я заглянула в газету через плечо соседа, чтобы своими глазами увидеть сообщение, но буквы запрыгали, я только и смогла прочесть: «Приговор приведен в исполнение».

Был теплый июньский день, я смотрела в окно и незаметно утирала слезы. Через окно виднелись обширные степи, зеленые перелески и ясное небо — чистое-чистое, лишь на горизонте покрытое перистыми облаками. Только природа, только она казалась вечной и чистой. А кругом всё расстрелы и расстрелы. Из прошедших по военному процессу я была знакома с Тухачевским, Якиром, Корком и Уборевичем. От этого было еще больней. А поезд мчал меня в незнакомую Астрахань, с каждой минутой отдаляя от родной Москвы, от годовалого сына. Я чувствовала себя одинокой среди посторонних людей, не понимавших моей трагедии.

И вдруг у противоположного окна я заметила старуху и женщину лет тридцати пяти, а с ними девочку-подростка.

Они внимательно, как и я, прислушивались к читающим газету, к реакции окружающих. Лицо старухи своими чертами мне кого-то напоминало. Меня словно магнитом потянуло к ним. Я сорвалась с места и попросила пассажира, сидящего напротив них, поменяться со мной. Он согласился. Оставалось только объясниться. Я понимала, что в такой обстановке они не назовут себя, прежде чем я не объясню им, кто я. Но как сказать? Я же могла ошибиться в своих предположениях, что они — свои — теперь уже больше чем родные. Я подошла вплотную к молодой женщине и очень тихо сказала: «Я — жена Николая Ивановича». Сначала я решила не называть фамилии; имя и отчество Бухарина были так же популярны, как и фамилия. Ну а уж если не поймет, кто я, решила назвать фамилию. Но ответ последовал мгновенно:

«А я — Михаила Николаевича».

Так я познакомилась с семьей Тухачевского: его матерью Маврой Петровной, женой Ниной Евгеньевной и дочерью Светланой.

Пассажиры бурно выражали свою ненависть к «предателям»:

— Да разве их зря осудят!

— Да не резон же, только урон!

Да на резон плевать, лишь бы убрать. Об этом свойстве главного убийцы разве мог народ знать? Следовательно, для Сталина резон был. Он действовал смело и уверенно, без риска проиграть. Он был не превзойден никем ни в деспотизме, ни в коварстве, ни в зле и обмане.

— Сами же признались, сами! От улики никуда не уйдешь.

Народ волновался и безуспешно пытался что-нибудь понять.

— Да судил-то их кто: Блюхер, Буденный, Дыбенко! Вот почему-то их же не судят, а они судят!*

А довод же, ничего не скажешь. Народ в тот миг не знал, что и Блюхер станет несколько позже «шпионом» и будет расстрелян, и Ворошилов станет кандидатом в английские шпионы и, как рассказал Хрущев на закрытом заседании XX съезда, будет допускаться не на все заседания Политбюро, а спрашивать разрешения, можно ли прийти.

— И что им только нужно было — и положение, и слава!

— И деньги не наши, — добавила какая-то женщина.

— Про Якира я не верю! — неожиданно смело заявил пассажир в вышитой украинской рубашке, сидевший недалеко от меня, весь покрасневший от волнения. — Хоть десять листов в этой газете напишите — не поверю, не поверю! Я Иону знал и воевал с ним, знаю, что он за человек. Фашистский наймит?! Абсурд,

* Членами суда были также и другие военачальники: командармы Шапошников, Белов, Алкснис, Каширин и комкор Горячев. Из них лишь Шапошников и Буденный остались в живых. Комкор Горячев покончил жизнь самоубийством в день суда над военными. Все остальные члены суда были расстреляны.

Присутствовали ли перечисленные военачальники на суде или же их именами воспользовались для того, чтобы показать, что суд состоял из людей авторитетных, мне неизвестно.

вранье! Да еврей же он, на черта ему нужны фашисты! Какие военные маневры под его руководством возле Киева прошли — мир таких не видел! Так это для того, чтобы обороноспособность нашу крепить, а не для того, чтобы...

— Ишь, гусь нашелся! — перебил его другой пассажир.

— Якира защищает, он с Якиром воевал, а я, может, с Тухачевским воевал, другой с Корком или Уборевичем, так, значит, все ложь, все «липа»? А зачем это нужно таких военачальников невинных убивать, только врагам на руку!

Опять же довод! Но защитник Якира не унимался:

— Якир не Тухачевский — помещичий сынок, он-то всех, наверно, и затынул, а Якира туда впустили.

И те, кто восхищался раньше их военным талантом, блестящими стратегическими способностями, героизмом и мужеством, и те, кто под их руководством в огне Гражданской войны воевал за советскую власть и подавлял армии интервентов, и те, кто им рукоплескал и кричал «ура!», теперь, обманутые и растерянные, яростно проклинали. Гибли авторитеты, рушилась вера, меркли светлые идеалы.

— Изверги, наймиты, изменники, пули им мало, четвертовать, повесить их надо было! Слишком легкая им смерть!

И тут же, среди разъяренных людей, сидела окаменевшая от горя и ужаса мать маршала Тухачевского. Как щедра была к нему природа, как безжалостна оказалась судьба! Необычайная одаренность, редкие полководческие способности, духовная красота сочетались с изумительными внешними данными.

Когда в детстве я впервые увидела Тухачевского, я не могла оторвать от него глаз. Так уставилась на него, разинув рот, что вызвала смех окружающих и добродушную улыбку Михаила Николаевича. «И дети любят красивое», — заметил отец.

Теперь я смотрела на его мать. Мертвенно-бледное лицо и дрожь больших, поработавших на своем веку рук выдавали